

Каринэ АРУТЮНОВА

*Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новый журнал», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.*

## ШАПИРО С УЛИЦЫ ШАПИРО

### Щепотка того, горстка этого

После живости восточного шука киевский рынок – само благочестие. Никто не брызжет слюной, не тычет в лицо бурекасы с картошкой, никто не жонглирует спелыми томатами, не вопит с остервенением «тапузим! клемантина! тапузим!». Никто не обещает осчастливить вас немедленно, не сходя с этого места, за шекель, ну, в крайнем случае, шекель тишим (1. 90).

Вы не уворачиваетесь с грациозностью гимнаста, идущего по проволоке, от требовательных и целеустремлённых потребителей с тележками и бездонными сумками на колесах. И даже приближение йом шиши (дня шестого и заключительного в созидании вселенной) вас не очень смущает. Вы навсегда (хотя как знать) избавлены от морока приближения конца всего, ну, в буквальном смысле от угрожающего затишья улиц и безмолвия заколоченных лавок перед всеобщим субботним благоденствием. Вы больше не мчитесь, прижимая к груди пакеты, на последний автобус, который (ах, какая жалость), щеголевато вильнув синим боком, уходит прямо из-под вашего носа.

Ничего, ничего, савланут, хамуда (терпение, милая), – бормочет некоторое существо не вполне разборчивого пола и возраста, но, однако, обладающее философским подходом к мелким жизненным неурядицам.

Ихие беседер\*, – примирительно шамкает он коричневым ртом, посылая мне, стоящей неподалеку, флюиды такой силы, что я и впрямь расслабленно выдыхаю, – да ну его, этот автобус, и какая разница, что я опять ничего не успела, я лузер, полный лузер, и даже пакеты, набитые всякой дребеденью вроде куриных окорочков, малосоленого сыра и острых оливок, не делают меня удовлетворенной (кто говорит о счастье, счастье это абстрактная величина (а несчастье – абсолютно конкретная, потому что его отсутствия вполне достаточно для счастья)), – но, видимо, в том и секрет постижения простых жизненных истин – абсолютная тривиальность набора, не претендующего на уникальность – лук, петрушка, щепотка того, горстка этого, все сыты, живы и спокойны.

Ихие беседер, – щелкает языком мой собеседник, маленький, смуглый, со сморщенным обезьяним личиком и голыми лиловыми пятками, – он кутается в безразмерное нечто вроде пёстрой женской шали, щелкает темными пальцами и поет во весь голос, и небритый кадык на его желтоватой шее ходит туда-сюда, – на улице зима, неважно, что это израильская зима, не очень уютно выглядят эти лиловые растрескавшиеся пятки и тощая желтоватая шея, обмотанная женской шалью, но разве счастье и уют это одно и то же? Разве острый момент счастья, влюбленности не может настичь нас в любом месте и состоянии, с бумажником полным и бумажником пустым, в юности и на склоне лет, в болезни и в здравии?

Внезапный солнечный луч подчеркивает и проявляет яркость салатного пучка, а лёгкий морозец пробуждает здоровое чувство голода, обостряет чувство причастности к этому (уже уходящему) дню, с его тривиальными заботами и обыденной продуктовой корзинкой. Щепотка того, горстка этого. Никто не торопит, никто не торопится, груды цитрусов золотятся в царственном безмолвии, россыпь гранатов радует глаз, соленья

щекочут обоняние, и пожилая Мальвина в кокетливом тулупе и перчатках с обрезанными пальцами, с густым кирпичным румянцем, накладными ресницами и фиолетовыми тенями, выхватывает бокастый пупырчатый огурчик, с треском надкусывает его и хрипло хохочет, являя миру золотое убранство ярко раскрашенного рта.

-----  
\*Ихие беседер (*ивр.*) – все будет хорошо.

### **Счеты бабы Фиры**

Полноватая женщина с добрыми, изрытыми оспой щеками (шестимесячная завивка, синий халат поверх цветастого платья, господи, как же ее звали) шлепнула по столу туго набитой папкой и, с явным сомнением глядя в мое «вечно отсутствующее» лицо, произнесла: ну, в общем, это, вот тебе, зарплату надо посчитать хлопцам. Справишься?

Справлюсь ли я! Смешной вопрос! Конечно, да мне это на один зуб, чуть ли не воскликнула я, понимая, что это провал.

Завтра, да нет, уже буквально сегодня они все поймут. Все, что я сама о себе давно понимаю. Что все годы я не училась, а «делала вид», что я в ужас прихожу от вида цифр, что дробь дробятся в моей несчастной голове и никогда не приходят к какому-то там общему знаменателю.

– Счетная машинка есть? – ватным голосом спросила я, развязывая тесемки на папке.

– Какая еще тебе машинка, вон, у бабы Фиры счеты возьми, ты ж на счетах можешь?

Ну, на счетах, спрашивается, кто же на них не может, бормотала я, заливаясь краской еще не стыда, но ужаса.

Баба Фира обитала на первом этаже. Ее комнатка вплотную примыкала к цеху, и это было единственное человеческое место на всей территории. Там всегда кипел чайник, в вазочке уютной горкой лежали пряники, конфеты «Мишка на севере», в углу стояли тапочки и веник, а сама баба Фира в наброшенной телогрейке (если не носилась по цеху в своих знаменитых обрезанных валеночках) сидела над дымящимся стаканом крепчайшего индийского (того самого, из желтой пачки со слонами) чая.

Если вы еще не поняли, баба Фира была личность. С ней советовались директор и главный инженер Заславский. Ее любили рабочие. Ее окрика боялись, с ее мнением считались. При том, что я ни разу не видела ее «вне себя». Вне себя как раз были чаще те, кто бежал к ней за помощью. Она строила всех.

Маленькая, в заношенной растянутой кофте (кажется, даже аккуратные заплатки присутствовали), в наброшенной на плечи телогрейке, в уютных своих валеночках беззвучно она появлялась то тут, то там, за ухом ее торчал химический карандаш, губы шевелились, производя расчеты. Подозреваю, что Фира была гений. Тактик и стратег. Счеты – это так, маскировка. Но, тем не менее, с какой виртуозностью порхали ее бледные в веснушках пальцы, как будто это были не тяжелые деревянные счеты, а клавиши «Стейнвея».

Костяшки весело подпрыгивали, разлетались и тут же превращались в цифры, написанные убористым бабы Фириным почерком.

– Деточка, что же вы будете делать со счетами? – глаза ее недоуменно взирали из-под круглых стекол перебинтованных в нескольких местах очков на понуро стоящую меня, – господи, они все знали, они все видели и понимали, эти подслеповатые глаза, от них ничего не укрывалось.

– Что же вы будете делать со счетами, деточка? – спросила старшая (и главная) нормировщица Фира Наумовна, приподнимая седые кустики бровей, и я, не скрывая отчаянья, прошептала: не знаю, расскажите, как.

Чему же вы там учились, деточка, возьмите уже конфету и смотрите сюда.

Час в каморке бабы Фирмы пролетел как одно мгновение. Прижимая к груди громоздкий инструмент, гораздо более надёжный, нежели плюющаяся перфокартами вычислительная машина, я взлетела на второй этаж.

Решительно раскрыла папку с тесемками. Наконец наступил тот самый полный ясности и гармонии миг, которых за всю мою жизнь случалось не так уж и много. Первый – когда я (неожиданно для себя) прямо на экзамене решила сложнейшую задачу из учебника Сканави, который до последнего момента представлялся мне пыточных дел мастером в зловещих нарукавниках.

Второй – в пустеющем после окончания рабочей смены здании, на втором его этаже, посреди громоздящихся папок с тесемками. За каждой цифрой, запятой и точкой стоял человек. Его дни, часы и минуты, помноженные, господи, на что? На что же?

Жалкие обрывки чего-то однажды усвоенного, – «производительность труда, производительность труда».

Завод казался муравейником, в котором каждый муравей знал, куда и зачем он тащит свое бревно. Цеха, этажи, подсобки, закутки, кабинет главного, стрекот пишущей машинки, стрекот каблучков Верочки, секретарши, шлейф ее дорогих духов, курилка, глаза мужчин, женские губы, смех, очередь за авансом, тускло освещенное помещение столовой, стаканы со сметаной и свеклой, борщи, свекольники, перловка, лысина главного инженера, белый костюм директора, плотно сбитого мужчины, довольно интересного, сплошь состоящего из бугров и сухожилий, его красный джемпер, его тяжёлая походка, скрип его подошв, запах одеколona, движущаяся очередь с подносами, долгожданный рабочий полдень, концерт по заявкам, послеобеденная скука, сумерки, запах котлет, гул первого этажа, подлинность цеховой жизни, похабные словечки, спецовки, рукавицы, грубость и притягательность другого мира с оседающей на одежде и волосах черной пылью, с ее душевыми, в которых распаренные потоком воды люди смывают с себя долгие часы, помноженные на...

Наморщив лоб, я тарыхтела костяшками, пытаюсь имитировать движения бабы Фирмы, их лёгкость, отточенность, непринуждённость. Ведомости, разбросанные в живописном беспорядке, пестрели цифрами. Пальцы мои чернильные, язык мой сизый, юность моя печальная, – казалось, я сижу не час, не два, не три, – всю жизнь, уподобившись бабе Фире, я проведу в затхлом помещении, неуютном, бедном, залитом холодным синеватым светом.

Я захлопнула папку. Утро вечера мудренее, повторяла я, подпрыгивая на остановке троллейбуса. Светились огни, праздничная иллюминация, был канун Нового года.

\*\*\*

Уже на проходной я кое-что заподозрила. Ощувив некоторый холодок вдоль позвоночника. Но значения этому решила не придавать. И все же, каждый свой шаг я ощущала как будто внутри холодного полого шара.

Ах да, ведомость. Я вспомнила о ней, увидев ту самую круглолицую, в синем халате, которая отбивалась от парня в шинели поверх спецовки.

Да не я это, не я, это новенькая! Да вот же она, только что прошмыгнула!

– Пройдите в кабинет и закройте изнутри (лицо главного было одновременно торжественным и тревожным, страшное слово «аутодафе» молнией блеснуло в голове), – и да, захватите папку. И не открывайте никому. Вас могут побить. Вы поняли? Праздники, зарплата. Вы хоть понимаете, что натворили?

Из коридора доносились сдавленные звуки, бабьи причитания, увещевания, топот, шарканье подошв, ровный гул, похожий на жужжание в растревоженном улье.

Раскрыв злополучную папку, я смотрела в окно. Человеческие фигуры отсюда казались маленькими, будто вырезанными из бумаги, тени их скользили по гладкой белой поверхности, звенели трамваи, светились окошки универмага «Украина». Стоило только представить себе, что творилось на его этажах! Сколько соблазнов! Сколько волнений, предвкушений, суеты! Отдел косметики, игрушек, запах финского стирального порошка и выброшенных на прилавок духов Фиджи. Огромные ёлочные шары укладывались в выложенные ватой ячейки, шуршал серпантин, сыпались конфетти.

А там, вдалеке, развернулся ёлочный базар. Далёкий аромат хвои щекотал ноздри.

Все это напоминало театр, стоило только устроиться поудобнее на подоконнике, обхватив руками колени.

Вздохнув, я придвинула счёты. Те самые, бабы Фирыны, тяжелые. Нашупала в кармане «Мишку на севере». До Нового года оставалось несколько часов.

### Свои

Ну и, конечно, высшей кастой считался конструкторский отдел. Давид Залманович Канторович, Мирра Иосифовна Трипольская, Илья Борисович Шпильман, Боря Кнорр, Сима Рыбакова – всякий, случайно попадающий в эту компанию аристократов, в этот джентльменский клуб, ощущал себя либо «среди своих», либо, увы, слоном в антикварной лавке с редчайшими вещицами.

Как, однако, красивы были эти люди! Какой иронией светились их глаза! Сколько в них было блеска, мудрости (не лет, а веков, жизней), сколько несгибаемой силы и независимости.

Да, люди эти были необычайно сильны, каким-то особенным, передающимся из поколения в поколение знанием.

Отдел жил своей жизнью (внешне мало отличимой от прочих), но детали, детали.

У них не было рабочего полдня и концерта по заявкам. Они пили кофе (отличный, кстати) и курили в любое неурочное время. Там можно было услышать антисоветский анекдот, записаться в очередь на свежий «Новый мир», поделиться впечатлениями о вчерашней джазовой программе на радио Свобода, купить забойные шмотки (один из элементов этой самой свободы), увидеть породистых женщин с осанкой библейских цариц (ах, что за подъем был у Симочки Рыбак), наблюдать, как закидывают они ногу на ногу в изящных итальянских (пощупайте кожу) сапожках, как курят они, как смеются, как красят губы, как примеряют эти самые шмотки.

А остроумие мужчин! Их живость! Особая, ни с чем не сравнимая мимика, лепка лиц и выразительность жестов.

Обаяние этих людей заключалось в их абсолютной неформальности. В особой системе взаимоотношений, оповещений, приязней и не.

Они быстро вычисляли своих, и отсеивали чужих. Да и чужому сложно было задержаться в этом мирке избранных, в сетях и проводах иносказаний и полунамеков. В атмосфере интеллектуальных игр, сарказма (часто довольно жёсткого) и антисоветского шарма.

– ...послушайте, кто взял номер «Нового мира»? Он здесь лежал, под вязанием в первом ящичке! Лев Борисович, вы случайно не брали?

– ...господа, вы читали «И дольше века длится день»? А «Альтиста Данилова»? А Солженицына, Шаламова, Разгона? Воспоминания Мессерера? (список произволен).

– ...и тут я говорю ему, – да, я аид, и что дальше?

– ...господа, у Илюши провода. Завтра в семь на Саксаганского.

\*\*\*

Это было поколение ярких, раскрепощенных людей, позволявших себе максимум свободы в заданной системе координат.

К слову сказать, таких лиц я больше не вижу. Или почти не вижу.

Не знаю, в чем тут дело. В системе координат, которая у каждого в общем своя? (К счастью, конечно, к счастью, но сложно сказать, стали ли мы по совокупности счастливее их, и стали ли счастливее они, оказавшись вне системы (которая душила, давила, травила, уничтожала, все так, но и оттачивала искусство продираться сквозь глухие стены и безнадежные тупики (если не убивала, конечно), и создавала такие вот островки, дрейфующие в океане льдины).

Свобод стало гораздо больше, исчезла необходимость в полунамеках, знаках, иносказаниях, исчезла общность людей, транслирующих их.

Исчезла потребность в коротких волнах.

Исчезли смеющиеся в курилке между вторым и первым этажами. Исчезли кухонные анекдоты. Порой я очаровываюсь пытливым из-под бровей взглядом, но при ближайшем рассмотрении мне становится скучно (и чем реже исключения, тем они ценней). Как сложно стало вычислять своих! Как скучно листать свежий, пахнущий типографской краской номер.

Его почти не с кем обсудить. И незачем.

## Шапиро с улицы Шапиро

Я уже почти согласилась, – обреченно ступая вслед за широкозадным работодателем в крошечной, венчающей необъятное тулово кипе, – парня звали то ли Фима, то ли Рома, – хорошо, пусть будет Фима, – «короче, не работа, а чистое удовольствие, – эфиопы народ чистоплотный», – в качестве доказательства Фима наклонился и провел пухлым белым пальцем по ступеньке (раздался несколько обескураживающий, но не оставляющий сомнений звук) – палец действительно остался чистым, но тягостные предчувствия одолевали меня, – я, знаете ли, небольшой любитель уборок, – но тут – по случайному звонку от шапочной знакомой – меня убедили, что работа абсолютно непыльная, – отказаться всегда успеешь, – сходи взгляни, что, жалко тебе, что ли?

И вот, в бессмысленной попытке что-то доказать (себе ли, окружающим?) я встретила с великаном в несвежей футболке и едва сходящихся на рыхлом животе шортах, – Фима, – представился он, с явным огорчением разглядывая переминающуюся с ноги на ногу меня, но, все же, не теряя по всей видимости присущего ему человеколюбия и оптимизма, повел (сначала на автобусе, потом пешком), пока не оказались мы в светлом чистом здании с арками, белыми колоннами и скользкими ступеньками.

Короче, – держи ключи, – от входной двери – щетка и тряпка – вот здесь, в кладовке, – тяжело пыхтя, Фима нагнулся, и... о, боже, я опять сделала, конечно же, вид, что ничего ровным счетом не слышу, боже сохрани, – я готова была показаться глухонемой и даже незрячей, лишь бы не видеть багрового Фиминого лица, усеянного россыпью коричневых веснушек.

Я понуро плелась за Фимой, опасаясь того, что он вновь нагнется за чем-нибудь, и мне вновь и вновь придется притворяться глухой, да еще и начисто лишенной обоняния.

На этом, собственно, моя так блистательно начавшаяся карьера уборщицы эфиопского дома культуры (в котором каждую среду собирались представители многочисленной эфиопской общины, чтобы там радовать друг друга, угощать вкусными эфиопскими блюдами, делиться проблемами, горестями и напропалую веселиться), завершилась, так и не успев толком начаться.

Далее целесообразно было бы описать мои злключения в кабинете дантиста (итальянца по происхождению).

Сладкоглазый мужчина опереточной внешности, (на мою беду) оказался страстным меломаном, и, забыв о своих прямых обязанностях (о тряпке и швабре), я до самого его возвращения, развалившись на диванчике, слушала блистательную коллекцию джаза и классики, – опомнилась часам к пяти, – после чего, разумеется, мне было отказано в том, чего я и сама не очень желала.

И если разобраться, то отказы чаще всего совпадали с моим явным нежеланием и абсолютным несовпадением с местом, обстоятельствами и, по сути, являлись истинным благом для потерпевшей.

\*\*\*

Куда-то пропали израильские сны. Помню, мне часто снился дом на улице Шапиро. Нет, я никогда не жила на улице Шапиро. Но там жил один банковский служащий с той же фамилией.

Отчётливо помню его. Живот, широкие брюки, очки в тяжёлой старомодной оправе. Пожилой, с коричневым добрым лицом, иракский, разумеется, еврей. Похож на добермана. Как звали, совершенно не помню. Но помню, что он предпочитал «нескафе им халав вэ капит сукар» (растворимый кофе с молоком и одной ложечкой сахара). Авива (немолодая девушка с клоунским макияжем на тяжелом, несколько непропорциональном лице) – «нескафе бли сукар» (растворимый без сахара).

Шмулик с первого этажа употреблял боц (кофе по-варшавски) с полными двумя ложками сахара. Шмулик был прыщавый и астеничный, с вечно холодными влажными руками. Как правило, он забегал за своей порцией кофе в крошечную пристройку.

К тому времени, когда привозили сэндвичи (с пастромой, жёлтым сыром и малосоленным белым), все сотрудники уже выпивали по порции-другой.

– Хамуда (милая), – полцарства за чашечку кофе, – ну, на иврите это звучало не совсем так, но смысл был примерно такой.

Выпитый до официального ланча кофе считался неформальным. Заглядывая в кухню, сотрудники банка, и без того довольно расслабленные, уже на пороге выдыхали с облегчением.

Всё-таки кухня – место сакральное. Прообраз дома. Здесь можно, прислоняясь спиной к шкафчику с посудой, поговорить о личном.

Стоит отметить, – в присутственных местах в Израиле в целом царит неформальная обстановка. Не стоит удивляться, если посреди приема пкида (служащая) с невинной улыбкой трехлетней девочки заявит «фрак рэга, ани оলেখет лаасот пипи» (минутка, я пойду пописаю).

Как-то пакид (чиновник, служащий), возглавлявший одно из отделений банка «Леуми», – интересный мужчина с ухоженной сединой, венчающей благородных очертаний бронзовую голову, с фигурой заядлого теннисиста, сокрушенно вздохнув, заметил: смотри, хамуда, у меня нет оснований не доверять твоей платежеспособности. Во первых, ты красивая. Во-вторых, образованная. Уверен, ты вот-вот найдешь подходящую работу.

Сочувственно вздыхая, он виртуозно вел несколько телефонных бесед, ублажал капризного клиента, увещевал трепетных ашкеназских старушек, щекотал розовый живот дамской собачки с шелковым бантом на шее, гладил по головам чьих-то буйных двойняшек, прихлебывал из прозрачной чашки. Его появление скучающие в очереди посетители приветствовали чуть ли не аплодисментами. По его ладной энергичной фигуре было ясно: вклады клиентов в надёжных руках.

Первым моим банковским откровением стал знойный июльский полдень девяносто четвертого года. Единственная (тогда) русскоязычная служащая (пкида) в хорошо кондиционированном зале первого этажа.

Это была необычайно притягательная женщина.

Дочь польских евреев, она родилась в Израиле и говорила по-русски с обаятельным акцентом.

Звали ее Маша. Человек, наделенный обаянием, преобразует самое тривиальное учреждение.

Оказавшись в банке, я первым делом искала глазами сдержанную, элегантную, улыбчивую Машу.

Даже овладев азами иврита, я все равно занимала очередь именно к ней. Женщин такого обезоруживающего шарма я встречала нечасто. Ни в Израиле, ни на исторической родине.

Ужасным разочарованием стал перевод Маши в другое отделение. Место ее заняла тоже владеющая русским служащая, уже из алии девяностых. Она была похожа на надутого клеща. Полная необъяснимого чванства, недоброжелательности, даже некоторой брезгливости в отношении вкладчиков. Впрочем, брезгливость ее довольно быстро сменялась заискивающей любезностью перед особо уважаемыми клиентами и теми, кто оказался выше на ступень. Я предпочитала любого ивритоязычного пакида (служащего) этой особе.

Переступая впервые порог израильского банка, я даже вообразить не могла, что однажды окажусь по ту сторону кулис. В завидной роли. Той самой, которая «кушать подано». Я продержусь в этой почетной роли недолго, усвоив, впрочем, полезные навыки вроде удержания равновесия с переполненным подносом. Бог знает, каким волшебным образом, удерживая баланс, взлетала я с этим самым подносом на второй этаж.

Значит так. Шмулику – кофе по-варшавски, Ронит – нескафе с сукразитом (заменителем сахара) и каплей молока (один процент), Ицику – черный, без молока, покрепче, Овадь – господи, про Овадью я забыла. Овадь не пьет кофе. Только зелёный чай.

Я первой открывала банк. Гремя ключами, важно прохаживались по пустынному, довольно затхлому (до включения кондиционера) помещению. Тянула на себя рубильники один за другим. На кухоньке домывала стаканы после неформалов, опрокидывающих порцию-другую перед закрытием.

Блаженную тишину прерывал вкрадчивый голос заведующего отделением, – приземистого восточного (кажется, персидского происхождения) мужчины со слащавой улыбкой на смугло-желтом лице. Этот голос вызывал у меня стойкое ощущение гадливости. И не случайно, как выяснилось. Несколько позже этот джентльмен предстал на скамье подсудимых по обвинению в сексуальных домогательствах по отношению к банковским служащим, в том числе и к работницам кухонной пристройки. Оказалось, женщины годами и десятилетиями (зная друг о друге, о новых увлечениях и стойких привязанностях босса), терпели прикосновения его толстеньких, будто подрубленных пальцев.

К счастью, то ли я казалась ему слишком непонятливой, то ли отстраненной, то ли (к счастью) была не в его вкусе, но дальше заваривания чая в металлическом чайничке «для босса» (почти чифирь) и приготовления кофе по-восточному для важных арабских клиентов наши отношения не развивались. Хотя, конечно же, лопатками и позвоночником я ощущала присутствие этого самого «босса» и выдыхала, когда он покидал территорию кухни.

Он, помнится, ужасно гордился тем, что чай в подстаканнике и кофе на подносе ему приносит человек с высшим, так сказать, образованием, и охотно делился своей гордостью со своими гостями.

Ах, какой она варит кофе, – ашкеназия, интеллигентит! – закатывая крохотные заплывшие глазки, босс со вкусом вытягивал жирные, будто смазанные курдючным салом губы. Арабский гость (чаще всего это был статный мужчина в ослепительно белом костюме, почти шейх), благосклонно взирал со своего кресла, удостоив едва обозначенной на чеканном лице улыбкой.

Счастье в том, что любое место работы я полагала временным, и потому была абсолютно убеждена в том, что искусство равновесия с полным подносом я вряд ли смогу применить в дальнейшем.

Любое завершение карьеры (будь то раскладка молочной продукции, работа в керамической мастерской либо продажа мужской обуви) казалось удачным и своевременным освобождением от тягостных обязанностей.

Исключение, пожалуй, составила работа в книжной сети «Стемацки» и бойкая продажа дисков в отделе классики и джаза.

После моего скандального ухода сгорел знаменитый супермаркет «Пиканти», а заведение банка «Леуми» сел на скамью подсудимых (за растление банковских служащих). Хозяйка керамической мастерской оказалась на грани разорения, продажа музыкальных дисков в одночасье потеряла актуальность.

Насчет книжной сети «Стемацки» ничего не знаю. Пожалуй, книжный подвал был единственным местом, откуда мне не хотелось бежать.